|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Алексей Семкин](http://magazines.russ.ru/authors/s/semkin/)** **Почему Сергею Довлатову хотелось быть похожим на Чехова**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |



*Алексей Данилович Семкин* родился в 1961 году. Кандидат искусствоведения, автор ряда статей по истории театра и литературы. Живет в Санкт-Петербурге.

Почему Сергею Довлатову хотелось быть похожим на Чехова

1.

Cегодня сопоставлением Довлатова с Чеховым никого не удивишь. Оно стало практически общим местом. Почти двадцать лет назад А. Арьев впервые определил литературную генеалогию самого знаменитого рассказчика прошлого столетия: Чехов, Зощенко и американские прозаики ХХ века. С тех пор о родстве Довлатова и Чехова кто только не писал и не говорил. Примеры рассуждений на эту тему можно множить и множить:

от высказываний знакомых и приятелей Довлатова, А. Гениса, П. Вайля, Вл. Соловьева, С. Гандлевского — до знаменитого сайта ru.wikipedia.org: “…его тонкий юмор и ирония, блестящий неповторимый стиль ставят его в один ряд с такими писателями, как Гоголь и Чехов”1 ;

от газетных рецензий: “По-русски так писал только Чехов, и Довлатов сам признавался, что прошел именно чеховскую школу”2 — до остроумных, хотя и спорных по-строений Е. Курганова, который выделяет “ряд ключевых пар (Бродский–Баратынский, Kузмин–Тредиаковский, **Довлатов–Чехов**, Галич–Некрасов, Ерофеев–Розанов и т. д.)”, пытаясь “нащупать ту или иную линию литературного развития (элегическую, салонную, **линию анекдота** и т. д.), развертывая ее или хотя бы просто обозначая, что тоже немаловажно. Главное было поставить рядом, даже столкнуть личности, за которыми вырисовывается некая реальная культурно-историческая тенденция”3.

И, конечно, нельзя не вспомнить хрестоматийно известное признание самого Довлатова о том, что похожим хочется быть только на Чехова, — настолько растиражированное, что даже неудобно цитировать.

Существует целая литература о том, в чем, собственно, заключается сходство его с Чеховым, — наблюдений на эту тему также множество. Здесь и преобладание односо-ставных предложений, и обилие вводных слов и предложений, и построение рассказа на основе диалога, на краткой и емкой реплике, и синтаксический параллелизм, и всепроникающая ирония, и преобладание характера над типом… Иногда — и это наиболее интересно — сходство не названо впрямую, оно объективно обнаруживается само собой, как будто речь не о Чехове, а о Довлатове — или наоборот. О ком сказано: “…простота в его прозе — не изначальна, она является результатом вычитания, продуктом преодоления сложности” 4 И как тут не вспомнить чеховский рецепт написания хорошего рассказа, в основе которого именно преодоление уже написанного материала?

Впрочем, речь несколько о другом: о сознательной ориентации на Чехова. Почему именно на него **хочется** быть похожим? Впрямую Довлатов об этом не сказал. Задача данной работы — попытаться это желание объяснить.

**Наиболее важным нам представляется здесь понятие нормы.**

То, что торжество абсурда в мире Довлатова — оборотная сторона жадного желания нормы, — опять-таки общее место. “Исследователи отмечают общую у разных писателей антитезу норма–абсурд… анекдотичность сюжетных коллизий, комизм ситуаций, нарочитую нелепость диалогов, элементы просторечия и разговорного стиля в рассказах Чехова, Шукшина, Зощенко, Булгакова, Довлатова … у этих писателей анекдотиче-ская ситуация выглядит как сдвиг порядка вещей. Рядом с этим сдвигом о**тчетливо обозначена** „**норма**“**, мудрый и справедливый закон бытия”**5 .

Прекрасно сформулировал мысль о коренной сущности довлатовского дарования А. Генис: “На фоне всего этого Довлатов отличается здравомыслием, его здоровая словесность импонирует читателю. Как ни странно это звучит, Довлатов — **самый нормальный человек в русской словесности**. Это нормальный писатель для нормальных читателей. А это большой дефицит в России”6 .

Наиболее убедителен сам Сергей Донатович — в интервью американской журналистке Джейн Бобко: “Одной из задач моих писаний является попытка вернуть себе и читателям ощущение **нормы как наиболее благоприятного или наименее болезненного условия человеческого существования. Ведь именно норма порождает более или менее достойного человека**, не истязающего себя и других, то есть — приемлемого для окружающих и выносимого для себя”7 .

Мы считаем, что и Чехов становится для Довлатова высочайшим идеалом прежде всего по той причине, что осознается им как носитель **нормы**: “Его творчество исполнено достоинства и покоя, оно НОРМАЛЬНО в самом благородном значении этого слова, как может быть нормально явление живой природы”8 .

Как ни странно, эти слова из множества писавших о Довлатове практически никто не заметил — на них обратил внимание, хотя и несколько по другому поводу, только И. Н. Сухих, сопоставивший их с другим высказыванием Довлатова — о противопоставлении нормы абсурду: “Одним из таких серьезнейших ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением… Значит, абсурд и безумие становятся чем-то совершенно естественным, а норма, то есть поведение нормальное, естественное, доброжелательное, спокойное, сдержанное, интеллигентное, — становится все более из ряда вон выходящим событием…”9

Понятие нормы, венчающее иерархию ценностей Сергея Довлатова, в известном смысле подменяет собой романтическое понятие идеала. Имманентно присущая идеальному образу недостижимость, невоплощенность порождают и романтическую тоску по несбыточному, и романтическую иронию над теми карикатурами на идеал (норму), которые предлагает нам действительность. На наш взгляд, в этом нерв довлатовского мироощущения. Эта глубинная тоска по нормальному и есть те самые “незримые миру слезы”, не столь легко различимые в блеске парадоксального юмора… Слезы, которым обязана своим высоким пафосом наша литература от Гоголя до Чехова и от Чехова до Довлатова.

2.

Чеховская норма зафиксирована в знаменитом постулате о равнообязательности и взаимообусловленности прекрасного в человеке — от лица и одежды до души и мысли. На эту тему Чехов высказывался неоднократно — таким же, по сути, утверждением нормы, только от противного, можно считать, например, такую фразу: “Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах… Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи”10 . В первом случае описание нормы, во втором — признаки нарушения ее.

Норма может и должна быть обеспечена по Чехову:

Правдой: “Счастье и радость жизни не в деньгах… а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами” (Чехов. С. Т. 17. С. 30).

Тактом: “Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой” (Чехов. С. Т. 17. С. 31).

И, главное — любовью: “То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть” (Чехов. С. Т. 17. С. 14).

Разве не о том же мысль Довлатова: “Очевидно, заключенному необходимо что-то лежащее вне его паскудной жизни. Вне зоны и срока. Вне его самого. Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе. Хотя бы на время отключить тормоза себялюбия. Нечто безнадежно далекое, почти мифическое. Может быть, дополнительный источник света. Какой-то предмет бескорыстной любви. Не слишком искренней, глупой, притворной. Но именно — любви”11 .

Только ли заключенному? Заменим это слово на просто слово “человеку” — разве не об этом постоянно говорит Довлатов во всех своих книгах? Разве это не справедливо для всех его героев? Как читаем в той же “Зоне” чуть дальше: “Я вообще пишу не о тюрьме и зэках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях… меня интересует жизнь, а не тюрьма” (Довлатов. Т. 1. С. 154).

“Нормальное состояние” — состояние любви. Будучи оба к религии общепринятой внешне индифферентны, в действительности в стремлении к этой норме искали (и прозревали) в человеке образ Божий, а в человеческом обществе — возможность организации его по законам Евангельским, то есть по законам любви. Приведем очень показательные слова Чехова об этом состоянии: “Когда любишь, то какое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить” (Чехов. С. Т. 17. С. 57).

Вообще мысль о влюбленности как о нормальном состоянии утверждается Чеховым многократно и разнообразно. Но особый интерес представляет случай, когда она искажена, изуродована. “Любовь есть благо. Недаром в самом деле во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа к жене называется одинаково любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей” (Чехов. С. Т. 17. С. 30). Речь здесь идет, очевидно, о возможности извращения даже самого высокого — того, что и для Чехова, и для Довлатова является нормой. Это искажение, явление, наиболее отвратительное, и для того, и для другого — пошлость. “В требованиях к людям очень далекий от морального педантизма, он не переносит одной только пошлости, своего лютого врага, который угнетал его и как писателя, и как человека”12 .

Самое интересное здесь, что она-то, пошлость, и воспринимается в быту, банальным сознанием, как норма, хотя в действительности не просто искажение — ее диаметральная противоположность.

3.

То, что обычно под нормой понимается, в действительности есть пошлость. Так можно сформулировать сокровенную мысль Чехова. Нелепость и пошлость жизни, внешне соответствующей правилам, сориентированной на достижение общепонятной и уважительной для массового сознания цели и оформленной общепринятыми ритуалами, постоянно в центре его внимания.

“Воспитание. „Жуйте как следует“, — говорил отец. И жевали хорошо, и гуляли по два часа в сутки, и умывались холодной водой, все же вышли несчастные, бездарные люди” (Чехов. С. Т. 17. С. 76).

“…Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей, а ваши дети должны иметь хорошую квартиру и детей, а их дети тоже детей и хорошие квартиры, а для чего это — черт его знает”. (Чехов. С. Т. 17. С. 99).

Именно такой тип существования рассматривается в “Случае из практики”, и в “Ионыче”, и в “Скучной истории”, и в “Скрипке Ротшильда”. Везде главный вопрос, заданный Чеховым читателю (и остающийся без ответа), один и тот же: во имя чего все это?

Довлатов сформулировал эту мысль так: “Конфликт мечты с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок… Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость” (Довлатов. Т. 1. С. 56).

Пошлый человек, лишенный, в противоположность человеку настоящему, совершенному, способности любить, с первых шагов в центре внимания Чехова (тогда еще Антоши Чехонте). Это “человек, который, судя по наружности, ничего не любит, кроме сосисок с капустой” (Чехов. С. Т. 17. С. 42).

Пошлость повседневного поведения может проявляться так: “N всю жизнь писал известным певцам, актерам, писателям ругательные письма: „ты думаешь, подлец“… и т. д. — без подписи” (Чехов. С. Т. 17. С. 88). А может — абсолютно наоборот: “Узнает из газет о смерти великих людей и по каждом из них носит траур” (Чехов. С. Т. 17. С. 60).

В любом случае **это нарушение нормы** — для нормального человека невыносимое: “Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такой скуки, как один человек” (Чехов. С. Т. 17. С. 41).

Противоположный вариант, существование человеческое, то есть нормальное, изображен Чеховым столь же лаконично: “Как приятно сидеть дома, когда по крыше стучит дождь и когда знаешь, что в доме твоем нет тяжелых, скучных людей” (Чехов. С. Т. 17. С. 100).

Появление таких людей — повторимся — следствие бессмыслицы, того унылого мертвенного воспроизведения общепринятых шаблонов существования в соответствии с положением “все так делают”. Заботами о внешнем благополучии, обучением французскому и чистке зубов вместо воспитания души уничтожается нормальное человеческое в человеке. “Мы переутомились от раболепства и лицемерия”, — констатирует Чехов (Чехов. С. Т. 17. С. 70). В результате: “У насекомых из гусеницы получается бабочка, а у людей наоборот: из бабочки гусеница” (Чехов. С. Т. 17. С. 83).

Особенно наглядна, смешна и противна пошлость необоснованной претензии:

“Я отдал бы все за то, чтобы вы были моей женой. Отдал все — совсем по-купече-ски. Кому нужно это твое все!” (Чехов. С. Т. 17. С. 22). “Самые несносные люди — это провинциальные знаменитости” (Чехов. С. Т. 17.С. 68). “Бездарный, долго пишущий писатель важностью своей напоминает первосвященника”. (Чехов. С. Т. 17. С. 81).

Обратимся к Довлатову. “Возможно, самым главным человеческим пороком Сережа считал отсутствие ненависти к себе, с которой связывал завышенную самооценку. На том, что Сережа презирал людей с завышенной самооценкой, сходится большинство его критиков, ибо неприятие завышенной самооценки хорошо сочетается с идеей скромности, простоты и демократичности довлатовского стиля, пленившего многих”13 .

Кстати, о претензии: здесь у двух писателей есть и буквальные сюжетные совпадения. У Чехова: писатель Гвоздиков “думает, что он очень знаменит, что его знают все” (Чехов. С. Т. 17. С. 103); его восторженно встречают, но эта встреча оказывается недоразумением: писателя приняли за капельмейстера.

У Довлатова вместо абстрактной фигуры Гвоздикова, писателя вообще, в соответствии с особенностями его поэтики возникает вполне реальный Владимир Войнович, английскую фразу “Ван оф ич” воспринимающий как свою фамилию; он приходит в восторг, как и писатель Гвоздиков: “Вот это популярность!” (Довлатов. Т. 3. С. 329). А причина нелепой ситуации и унизительного разочарования абсолютно та же: он “думает, что он очень знаменит, что его знают все”.

4.

Антитезой “норма — искажение” проясняется спорный, интересный и важный вопрос о неоднозначном отношении обоих авторов к интеллигенции.

Весьма противоречивы высказывания о ней Чехова. Общеизвестно жестко негативное: “Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики; в них сила, хоть их и мало” (Чехов. П. Т. 8. С. 101).

Столь же суров к своему интеллигентному окружению бывал и Довлатов. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть “Соло на „Ундервуде“”, “Соло на IBM” или “Ремесло”.

“Найман и Губин долго спорили, кто из них более одинок.

Рейн с Вульфом чуть не подрались из-за того, кто опаснее болен.

Ну, а Шишагов и Горбовский вообще перестали здороваться. Поспорили о том, кто из них менее вменяемый. То есть менее нормальный” (Довлатов. Т. 3. С. 258).

Обратим внимание: речь идет о посягательстве на норму.

При известной наивности возможен даже такой взгляд: современный интерпретатор, обнаруживая тему ни к чему не пригодной интеллигенции у Довлатова, увязывает ее, минуя даже Зощенко и других обличителей “буржуазной прослойки”, непосредственно с Чеховым. “Самый главный парадокс анекдотической прозы Довлатова в том, что изначально, с первых шагов, находясь в окружении либеральствующей интеллигенции и совершенно не зная почвеннического направления современной русской культуры, весь свой сарказм, весь наработанный цинизм, всю конвойскую беспощадность он вымещает на этом окружении. Этим он на самом деле похож на Чехова, беспощадно высмеивающего беспомощных и вялых дядей Ваней, трех сестер и прочих обитателей вишневых садов. Только у Довлатова эпоха другая и интеллигентность не та…”14

Сопоставление Чехова с Довлатовым и в этом случае действительно напрашивается, но дело обстоит, кажется, несколько сложнее. Довлатов при всей “беспощадности” — истинный интеллигент, несущий свою интеллигентность через испытания “Зоны” как тяжелую, но драгоценную печать (“На лице его постоянно блуждала рассеянная и тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге” (Довлатов. Т. 1. С. 44)).

Это совершенно очевидно для всех знавших его: “Если задуматься, что же стоит за всеми вещами Довлатова, что дает им единство стиля и тона, какова мера вещей в его художественном мире, то мы обнаруживаем везде — его самого, Сергея Довлатова, русского интеллигента 1960-х, лицом к лицу с советской системой в целом, с самыми различными характерами и социумами”15 .

Да и у Чехова находим не просто надежду — упование на эту, сомнительную с точки зрения любой власти, прослойку: “Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать” (Чехов. С. Т. 17. С. 56).

Вопиющее противоречие? Нисколько. Дело все в том же — в норме и в ее извращении. Точнее, в обычном и, к сожалению, неустранимом зазоре между нормой (“честно мыслит, чувствует и умеет работать”) и искажением, той “лицемерной, фальшивой, истеричной, невоспитанной, ленивой” интеллигенцией, представители которой населяют рассказы и повести Антона Павловича. Все противоречия снимаются, достаточно вернуться к мечте его о человеке, в котором все прекрасно: лицо, одежда, душа, мысли, и, осмелимся расширить с детства знакомый перечень, способ изъясняться, и способность любить… Или вспомнить еще более краткий и емкий чеховский постулат: “Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически” (Чехов. С. Т. 17. С. 44). Это и есть формула, определяющая таинственное слово “интеллигентность” — норму, противостоящую пошлости.

5.

В действительности оба — эталонные представители интеллигенции. Поскольку обоим в высшей степени свойствен такой признак интеллигента, как способность испытывать стыд. Обоим стыдно — за многое.

Что может вызывать чувство стыда у Чехова? Тело, вероятно, когда его требования становятся довлеющими: “Я презираю свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно” (Чехов. С. Т. 17. С. 31). В анекдотическом варианте это звучит так: “Шел по улице такс, и ему было стыдно, что у него кривые лапы” (Чехов. С. Т. 17. С. 37).

Любое действие, несущее горе и боль живому существу, даже на охоте, где убийство любым нормальным (в банальном значении этого слова) человеком воспринимается как абсолютно естественное и даже похвальное. Но слава, сопутствующая удачливому охотнику — не для Чехова. Критик-современник свидетельствует: “На охоте вместе с Левитаном убил он вальдшнепа, и от этого самому больно и совестно…” — и приводит слова самого Чехова: “…одним красивым влюбленным созданием стало меньше”16 .

Чужое несчастье: “…у арестанта неловко спрашивать, за что он приговорен… у очень богатого человека неловко спрашивать, на что ему так много денег и отчего так дурно он распоряжается своим богатством…” (Чехов. С. Т. 17. С. 48). Обратим внимание: о богатстве стыдно спрашивать, как о несчастье.

Тем более стыдно самому быть счастливым — довольство жизнью делает человека глупее, черствее, хуже: “За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье” (Чехов. С. Т. 17. С. 44).

А вообще: “Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой” (Чехов. С. Т. 17. С. 31).

Стыд порожден высокой требовательностью к себе (а к ближнему своему и Чехов, и Довлатов, как правило, терпимы и снисходительны, за исключением пошлости), и это — требование нормы. Именно на этой основе формулируются чеховские нравственные постулаты: “Боже, не позволяй мне осуждать или говорить о том, чего я не знаю и не понимаю” (Чехов. С. Т. 17. С. 82).

Довлатову постоянно стыдно. В первую очередь за то же — за относительное благополучие: “Едешь, бывало, в электричке с дружеской компанией. Вдруг появляется нищий с баяном. Или оборванная женщина с грудным ребенком. И тотчас же возникает гнетущая ситуация. Хочется сунуть нищим мелочь, чтобы они поскорее ушли… Присутствие человека в рваных ботинках действует угнетающе. Вынуждает задумываться о капризах судьбы. Будоражит дремлющую совесть…” (Довлатов. Т. 3. С. 197).

Причин для самотерзаний всегда будет достаточно. Алиханова в “Зоне” одинаково мучают участие в пьяном скотстве вохровцев и воспоминания об участии в школьной расправе над ябедой Вовой. Герой “Филиала” признается: “Я проклинал и ненавидел только одного себя. Все несчастья я переживал как расплату за собственные грехи. Любая обида воспринималась как результат моего собственного прегрешения” (Довлатов. Т. 3. С. 171).

А далее — такой беспощадный диагноз: “Чувство вины начало принимать у меня характер душевной болезни” (Довлатов. Т. 3. С. 171) — и два потрясающих, выворачивающих душу, нехарактерных для Довлатова (который, в общем, по той же причине очень стесняется даже самых невинных попыток тронуть читателя) фрагмента об этом чувстве вины. О больном мальчике и о нищенке, ребенку которой он хотел подарить дорогие игрушки: “…потому, что я был виноват и хотел откупиться” (Довлатов. Т. 3. С. 172).

Настоятельная потребность нравственного самооправдания, оправдания своей беспутной жизни руководит пером Довлатова во всех произведениях, особенно же в “Компромиссе”. “Правы Вы и в том, что я не люблю людей, которые „в ладах с жизнью, друг с другом“, — писал Сережа Игорю Ефимову, — вернее, не „не люблю“, а просто завидую им, потому что сам я никогда ни с чем в ладах не был… Никогда мне не дано было ощутить довольства собой или жизнью. Никогда я не мог произвести впечатление человека, у которого все хорошо…”17

То, что было возможно для душевного комфорта в мире Чехова — достаточно слышать стучащий по крыше дождь и знать, “что в доме твоем нет тяжелых, скучных людей”, — для Довлатова невозможно в принципе, его несчастье — в нем самом.

Для того, чтобы мучиться этой мукой, нужно суметь увидеть себя взыскательным и беспощадным взглядом, как для того, чтобы изменить жизнь, нужно понять, что она проходит “в дерьме и позоре” (поздравление Довлатова самому себе в день тридцатипятилетия). Нравственным самооправданием героя Довлатова становится само **осознание необходимости нравственного самооправдания** этой жизни “в дерьме и позоре”, этой лжи, этих “компромиссов” — не больше, но и не меньше. Отсюда мучительный поиск этого нравственного самооправдания; и при всем понимании невозможности его — ужасающая тоска (тоска чисто романтическая, тоска по иной, высшей реальности: “Но когда-то мы жили в горах!”); и ужасающее самоубийственное пьянство, и в “Зоне”, и в “Заповеднике”, и в “Компромиссе”.

“Однако я страдал и мучился. Ведь каждый из нас есть лишь то, чем себя ощущает. А я ощущал себя глубоко и безнадежно несчастным” (Довлатов. Т. 3. С. 134). Отчего несчастным? **Герой Довлатова — это герой Зощенко, задумавшийся над возможностью нравственного самооправдания своей жизни.** И переставший считать себя центром жизни. Теперь он смотрит на героя Зощенко, на пошлость окружающей действительности со стороны: “Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо” (Довлатов. Т. 3. С. 305).

То есть не стыдящиеся счастья. Или, по Чехову, — не слышащие этого молоточка за дверью.

Герой Довлатова, в большинстве случаев неотличимый от автора, уверен что ему не должно и не может быть хорошо. В точности так, как сказал когда-то о Достоевском Добролюбов: “В произведениях г. Достоевского <…> боль о человеке, который признает себя не в силах или, наконец, даже не вправе быть человеком…”18  С маленькой поправкой: не вправе быть человеком счастливым. И когда над ним шепчет ласковые слова любимая женщина, он не верит очевидной реальности, не считая себя достойным сочувствия: “С кем это она, думаю, с кем?..” (Довлатов. Т. 1. С. 211). А. Арьев так пишет об этой его черте: “Интеллигентный человек фатально поражается несправедливому устройству мира, сталкиваясь с абсурдной — на его взгляд — жестокостью отношения к нему окружающих: как же так — меня, такого замечательного, справедливого, тонкого, вдруг кто-то не любит, не ценит, причиняет зло... Сергея Довлатова поражала более щекотливая сторона проблемы. О себе он, случалось, рассуждал так: каким образом мне, со всеми моими пороками и полууголовными деяниями, с моей неизъяснимой тягой к отступничеству, каким образом мне до сих пор все сходит с рук, прощаются неисчислимые грехи, почему меня все еще любит такое множество приятелей и приятельниц?”19

6.

Итак, мир Чехова и Довлатова образует антитеза: норма — и ее искажение, пошлость. Пошлость и есть чаще всего содержание жизни. Но здесь необходимо разграничить вопрос об изображении искаженной, опошленной жизни (о чем речь шла выше) и об искаженном, сведенном к примитиву самом восприятии жизни.

Пошлость или банальность чаще всего принимаются за норму в искусстве — это очевидно и для Чехова, и для Довлатова: “Публика в искусстве любит больше всего то, что банально и ей давно известно, к чему она привыкла” (Чехов. С. Т. 17. С. 67). Имитация, воспроизведение, якобы всерьез, пошлого, упрощенного взгляда на мир — один из любимых стилистических приемов и Чехова, и Довлатова.

Язвительное изображение этого привычного, банального, примитивного набора псевдохудожественных штампов — истинное содержание таких шуточных рассказов Чехова, как: “Что чаще всего встречается в романах”, “Каникулярные работы Наденьки N” и др. Яркий пример такой литературы — роман Веры Иосифовны в “Ионыче”, начинающийся фразой: “Мороз крепчал…” (Чехов. С. Т. 10. С. 26). Именно такой литературы жаждет массовый читатель, “публика”, потребитель дамских романов и сериалов.

Потакая этому желанию банальности и издеваясь над ним, строит свои стилизации и Сергей Довлатов. Кстати, характеризуя тексты своего героя, одного из таких горе-литераторов, Довлатов фактически повторяет приведенное выше чеховское определение художественной банальности: “От цензуры их защищала надежная броня литературной вторичности. Они звучали убедительно, как цитаты” (Довлатов. Т. 1. С. 357).

Вообще у Довлатова именно эта грань творчества — одна из самых интересных. Издеваясь над пошлостью, политической, газетной или художественной (или литературоведческой (“Личная трагедия Пушкина и сейчас отзывается в нас мучительной душевной болью…” (Довлатов. Т. 1. С. 358)). Довлатов никогда не цитирует, не отделывается общим контуром, схемой. Он **увлеченно порождает сам эти тексты** — и это глумление над пошлостью виртуозно и само по себе высокохудожественно:

“— Это не ваше — „К утру подморозило…“ ?

— Нет, — говорил я.

— А это — „К утру распогодилось…“ ?

— Нет.

— А вот это — „К утру Ермил Федорович скончался…“ ?

— Ни в коем случае” (Довлатов. Т. 3. С. 216).

А вот штампы журналистские. “Я все-таки хочу знать, что вы испытывали на Севере? Фигурально выражаясь, о чем молчала тундра?” (Довлатов. Т. 1. С. 220) — переводит свой вопрос с нормального человеческого на “советский газетный” журналистка Лида из “Компромисса”. Как песня — финал патетической статьи Буша о капитане Пауле Руди:

“Капитан вытер мозолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал:

— Запомни парень! Свобода — как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее... Советским людям этого не понять. Ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег... И потому — я вернусь. Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба! Душистого хлеба свободы, равенства и братства!..” (Довлатов. Т. 1. С. 277).

Разница в том, что у Чехова эти стилизации, будь это “Каникулярные работы Наденьки N”, записи в “Жалобной книге” или набор штампов для бездарного литератора — суть нечто индивидуальное, имеющее отношение к пошлости личной, частной. У Довлатова же — к государственной, государством заказанной и оплаченной (кстати, первым опытом в этом роде стал “Торжественный комплект. Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей”, вышедший в трудную минуту из-под пера Остапа Бендера). И граница между этими экзерсисами пролегает там же, где и граница между сатирой обычной и сатирой политической.

К этому же уникальному жанру следует отнести тексты собратьев Довлатова, графоманствующих советских писателей… Будь то истеричный славянофил Лихоносов: “Где ты, Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники?! Где хлебосольство, удаль, размах?! Где самовары, иконы, подвижники, юродивые?! Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?! Где обыкновенные лошади, черт побери?! Где целомудренная стыдливость чувств?!... Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!” (Довлатов. Т. 1. С. 362) (Можно представить, как веселился Довлатов, создавая эту имитацию — и подводя простодушно-беспощадный итог: “Кто, кто... Известно, кто... И нечего тут голову ломать...”) Будь то бездарный и бессовестный беллетрист Стасик Потоцкий, у которого все рассказы заканчиваются на одинаковой псевдомногозначительной ноте:

“— Главное — быть человеком, Шурка, — сказал Лукьяныч и зашагал прочь.

Шурка долго, долго глядел ему вслед...” (Довлатов. Т. 1. С. 356);

Или так: “Медсестра долго, долго глядела ему вслед...” (Довлатов. Т. 1. С. 357);

А еще так: “Навсегда запомнил Витька эту руку. Широкую, мозолистую руку с голубым якорем на запястье...” (Довлатов. Т. 1. С. 357).

Вообще играет Довлатов чаще всего с зачинами или финалами как эмоционально и концептуально очень плотными фрагментами. И, конечно, с названиями, которые еще плотнее. Особая задушевная пошлость советской нравоучительной литературы как магнитом манит его изощренно-скептический ум (“Победа Шурки Чемоданова”, “Мишуткино горе”, “Дым поднимается к небу”, “Чайки летят к горизонту”, “Счастье трудных дорог”, “Трое против шторма”…).

У Довлатова это могло бы стать — иногда и становится — способом изображения **безумия, абсурда мира** через абсурдность мысли героя о мире. Последовательно двигаясь по этому пути, он получил бы оптимистический ответ на вопрос “А что предполагает убожество?” (Довлатов. Т. 3.С. 291). Как преступление предполагает общие законы, цинизм — общие идеалы, а богохульство — общую веру, так убожество мысли, чувства, слова предполагает существование общей высокой и неоспоримо авторитетной культуры, противоположенной этой пошлости. Нормальной. Очевидной для Чехова. Но Довлатов, зная о ее существовании, осознает собственную неспособность говорить о ней всерьез, неорганичность этого взгляда для себя. И признается в бессилии: “Тут я умолкаю. Потому что о хорошем говорить не в состоянии, потому что нам бы только обнаруживать везде смешное, унизительное, глупое и жалкое. Злословить и ругаться. Это грех” (Довлатов. Т. 3. С. 99).

Впрочем, важнее всего само направление движения, осознанное желание оторваться от пошлости. На самом деле он знает, как это обычно делается: “Художник… создает искусственную жизнь, дополняя ею пошлую реальность. Он творит искусственный мир, в котором благородство, честность, сострадание являются нормой” (Довлатов. Т. 1. С. 56).

Ну, этот путь явно не для Довлатова, он не станет творить искусственный мир. Зато может поступить по-другому — найдя норму там, где ее обычному здравомыслящему человеку и в голову не придет искать.

7.

Пристальное внимание к герою нетипичному, не соответствующему стандарту, теснейшим образом связано и с понятием нормы, и с мотивом стыда. У Чехова две модели отношения к действительности — общепринятой нормы (пошлости) и истинной нормы — нагляднейшим образом представлены в рассказе “Казак”. Странный герой, по сути, решительно противопоставлен не только жене, но и всей действительности — об этом говорит дальнейшая чуждость его происходящему, выпадение из окружающей жизни. Суть рассказа — конфликт между банальным сознанием обывателя (жена героя) и, по сути, довлатовским персонажем, для которого очевидна иная точка зрения, которому может быть стыдно.

Совершенно довлатовский у Чехова странный священник в рассказе “Письмо” — пьющий, жалкий, нелепый, но единственный воплощающий евангельскую мысль о прощении блудного сына как высшей истине.

Таков и герой “Студента” — в высшей степени “неправильный” семинарист.

Норма воспринимается миром (пошлостью) как некий вывих, и непросто вернуться к истинному зрению. Именно такие герои в центре внимания и Чехова, и Довлатова — нелепые, неправильные, как Петя Трофимов или Муся Татарович, и при этом воплощающие этическую норму, а то и нравственный эталон. Как же быть с абсурдом, проводником которого они являются? Этим абсурдом они отрицают абсурдность действительности, в которой живут.

“Чудаки казались ему прежде больными, а теперь он считает, что это нормальное состояние для человека — быть чудаком” (Чехов. С. Т. 17. С. 43).

Кто это — Довлатов или Чехов? Чехов. Но мог быть и Довлатов.

Потому что именно у Довлатова порождением и неуверенности в себе, и горечи, и лютой тоски, и смирения паче гордости, и осознания необходимости нравственного самооправдания через яростное отрицание “дерьма и позора”, в которых проходит жизнь — естественно становится симпатия и непобедимое стремление к обществу маргиналов и деградантов, то есть подонков и отребья. И самоотождествление с ними.

Ибо кто же такие маргиналы? Об этом уже написали многие, они — очевидное продолжение одной из магистральных тем русской классической литературы — темы “лишнего человека”. Собственно, так и называется один из рассказов Довлатова — “Лишний”. П. Вайль и А. Генис придают этому рассказу (в несколько измененном виде вошедшему в “Компромисс”) особое значение: “„Лишний“ — манифест Довлатова, и „лишний человек“ Буш — пророк его”20 . Далее мысль эта доказывается так: “Герой —лишний человек. И в литературном смысле — как продолжатель известной галереи российских персонажей, и в самом прямом, жизненном — чему свидетельством биография Довлатова, бывшего неудачника и нынешнего эмигранта. Пользуясь его же словами, он — „неудержимый русский деградант“, хотя это определение относится к другому человеку, а именно: к персонажу рассказа, так и названного — „Лишний“. Рассказ этот, включенный в повесть „Компромисс“, не лучший, но, пожалуй, самый характерный для Довлатова. Идея „лишнести“, изгойства, невозможности вписаться в какую-либо систему (культурную, социальную, бытовую) господствует в его прозе. До крайности она доведена в „Лишнем“, где одаренный человек, но „неудержимый деградант“ Эрик Буш, раз за разом поднимаясь к высотам конформизма, все-таки обязательно совершает нечто такое, что разбивает вдребезги его добросовестные попытки. Протест против иерархии — любой — сильнее”21 .

Итак, маргиналы — лишние и, таким образом, может быть, лучшие люди на свете. Таков беспредельно пьющий и замечательно талантливый фотограф Жбанков из “Компромисса”. Таков философ–рецидивист Купцов из “Зоны”, который становится “дорог и необходим” автору, “дороже солдатского товарищества” (Довлатов. Т. 1. С. 76). Таков Гена Сахно из “Наших” — “спившийся журналист и, как многие алкаши, человек ослепительного благородства” (Довлатов. Т. 2. С. 197). Именно они и оказываются способны к нравственному, хотя и неожиданному поведению. В самый важный момент жизни они совершают свой выбор между безумием маргинала и пошлостью обыденности. Результатом такого выбора, выполняющего функцию нравственного самооправдания, явится неожиданный дикий поступок Эрнста Буша или целый перечень таких же диких поступков брата героя Бориса, совершенных под общим лозунгом: “Я сделаю это!.. Или перестану себя уважать...” (Довлатов. Т. 2. С. 207) Сравним с объяснением Буша: “Сейчас решится — кто я. Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают все остальные? Тогда я встал и пошел…” (Довлатов. Т. 1. С. 291). Именно так поступает и сам герой на похоронах Ильвеса в “Компромиссе”, произнося совершенно неожиданные, не предусмотренные официальным протоколом слова…

Заявленная оппозиция **“норма”** (в банальном значении слова, то есть пошлость) и маргинал” получает примерно такое наполнение: карьерный рост и настоящий поступок, за который можно себя уважать; внешняя благопристойность и подлинная свобода; мертвая схема и живая душа...

Так нужно понимать и довлатовскую максиму: “…человеческое безумие — это еще не самое ужасное. С годами оно для меня все более приближается к норме. А норма становится чем-то противоестественным” (Довлатов. Т. 1. С. 271).

Подонкам мнимым, вроде вышеупомянутых Жбанкова или Буша, противополагаются подонки действительные, вроде внешне добропорядочного подлеца Владимира Ивановича (“Компромисс”)... Объяснение такому противопоставлению в соответствии с тогдашней хемингуэевской системой ценностей довлатовского поколения сформулировал А. Арьев: “Там, где общественное мнение подозревает в человеческом поведении умысел и злую волю, Довлатов-прозаик обнаруживает живительный, раскрепощающий душу импульс. Неудивительно, что он питал заведомую слабость к изгоям, к плебсу, частенько предпочитая их общество обществу приличных — без всяких кавычек — людей. Нелицемерная, ничем не защищенная открытость дурных волеизъявлений представлялась ему гарантией честности, благопристойное существование — опорой лицемерия”22 .

Эти тонкие психологические мотивировки возникли много позже, задним числом, в описываемую эпоху взгляды и Арьева, и Довлатова были несколько категоричнее. И насчет “приличных — без всяких кавычек — людей” мемуарист сам себе противоречит... Приводя чуть дальше разговор с Довлатовым об общем знакомом по “Заповеднику”, определенном обоими приятелями как “гармоническое убожество”, Арьев цитирует собственную формулировку, вполне пришедшуюся по вкусу Довлатову и достойно завершающую вышеприведенный ряд оппозиций “норма и маргинал”. На вопрос Довлатова: “Почему же тогда N (он назвал имя уважаемого нами старожила пушкинских мест) предпочитает общество этого парня, извини, Андрюша, нашему?” — последовал ответ: “Потому что с некоторых пор его привлекают не НАСТОЯЩИЕ, а ПРИЛИЧНЫЕ люди”23.

8.

Наконец, еще об одной, вполне очевидной параллели. В искаженном мире, мире с нарушенной нормой, невозможны не только настоящие связи между людьми, но и коммуникация в принципе, утрачены элементарные навыки общения, торжествует принцип “испорченного телефона”. И. Н. Сухих именно в этом увидел сходство между произведениями Довлатова и чеховской “Новой дачей”.

Круг подобных сюжетов вообще очень широк у Чехова — от “Злоумышленника” и “Тоски” до “Врагов” и “Княгини”, “Скучной истории” и “Палаты № 6”.

У Довлатова этот мотив — один из организующих все его творчество на протяжении трех десятков лет… Таковы разговоры зэков Замараева и Ерохина в “Зоне” или Егорова с Катей (там же); разговор двух майоров и неудачная попытка Лиды взять интервью у Алиханова в “Компромиссе”… Впечатление бреда производит беседа героя с будущей женой в “Заповеднике”. Особый случай, там же, — общение героя с его квартирохозяином Мишей… Нелепы беседа Муси с Зарецким в “Иностранке” и все разговоры героя с Тасей в “Филиале”…

Причины невозможности понять другого могут быть разными. Замкнутость собственного мира. Эгоцентризм. Наличие принципиально иного жизненного опыта. Узость кругозора. Примитивность мышления одного из собеседников (или обоих). Терминологическая путаница. Речевая дисфункция…

И здесь мы должны вернуться к разговору о нарушении нормы, о пошлости. Присмотримся к речевой дисфункции: у Чехова:

“Писарь посылает жене из города фунт икры с запиской: „Посылаю вам фунт икры для удовлетворения Вашей физической потребности“” (Чехов. С. Т. 17. С. 63),

“…пристрастие к слову единоутробный: братец мой единоутробный, жена моя единоутробная, зять и пр.” (Чехов. С. Т. 17. С. 88),

“…я твой законнорожденный муж” (Чехов. С. Т. 17. С. 86),

“Один действительный статский советник взглянул на красивый ландшафт и сказал: „Какое чудесное отправление природы!“ (Чехов. С. Т. 17. С. 31).

В основе всех этих случаев нелепого словоупотребления не просто отсутствие вкуса к слову, языкового чутья. В каждом из них очевидно все то же желание сказать красиво — любой ценой, не обращая внимания ни на стиль, ни на смысл. Перед нами вновь претензия, один из вариантов пошлого мироощущения. Это все тот же Иван Петрович из “Ионыча”: “Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина… Это с вашей стороны весьма перпендикулярно…” (Чехов. С. Т. 10. С. 39).

Эту же претензию, отменяющую возможность настоящего человеческого общения, подменяющую его пошлостью, пародирует Довлатов:

Вот беседуют два приятеля автора:

“— Что это ты? Все — трахал да трахал! Разве нельзя выразиться более прилично?

— Как?

— Допустим: „Он с ней был“. Или: „Они сошлись“” (Довлатов. Т. 3. С. 250).

Разговаривают два попутчика, два майора:

“ — Необходима шкала ценностей, Витя. Истинная шкала ценностей. Плюс точка отсчета. А без шкалы ценностей и точки отсчета, сам посуди...

Другой по-прежнему возражал:

— Есть факт, Коля! А факт — есть факт, как его ни поворачивай. Факт — это реальность, Коля! То есть нечто фактическое...” (Довлатов. Т. 1. С. 238).

Лагерный замполит сообщает о гибели прожженного рецидивиста: “Ваш сын… уверенно шел к исправлению. Он скончался на трудовом посту…” (Довлатов. Т. 1. С. 122).

Журналисты называют друг друга — “Паганини фоторепортажа” и “Шекспир экономической передовицы” (Довлатов. Т. 1. С. 289).

Сосед героя, полковник, говорит о знакомом: “Простите мне грубое русское выражение, но он — типичный ловелас” (Довлатов. Т. 3. С. 266).

И, наконец, уже с прямой ссылкой на Чехова, — так и обозначено, реплика в чеховском духе:

“Я к этому случаю решительно не деепричастен” (Довлатов. Т. 3. С. 271).

9.

В заключение — несколько замечаний, опровергающих кое-что из сказанного выше.

В центре чеховского мира — норма. Главный нерв — желание нормы, нравственный вектор — душа и чувства нормального человека.

Помочь Довлатову в стремлении к нормальному не мог ни Достоевский, мучительно копающийся в порочных извивах человеческих душ, ни Пушкин с его надмирным олимпийством, ни поэты Серебряного века, ни социально ориентированная литература советской эпохи.

Только Чехов.

Но здесь серьезное, даже трагическое противоречие.

Норма противостоит абсурду. Абсурд не органичен для Чехова. “Внутренняя свобода, нравственная опрятность и независимость, все это — его органическое достояние, его натура; он иначе не умеет”24 , — говорит о нем Айхенвальд.

А ведь абсурдность окружающего, может быть, главная тема Довлатова.

Норма ни в коем случае не предмет анекдота.

А ведь анекдот — истинный и единственный жанр Сергея Довлатова.

Норма как нечто противопоставленное необычному, экстравагантному, шокирующему не может быть предметом повествования, основным стержнем творческого мира того, кто считает себя прежде всего рассказчиком.

А ведь Довлатов свое призвание видел именно в этом, свой дар обозначал только так: рассказчик.

Всем, кто цитирует сегодня затасканную довлатовскую фразу о желании быть похожим на Чехова, и только на него, пожелаем задуматься об этом существенном противоречии.

 1 Cpsy.ru/cit 500. htm

 2 “Женщины предпочитают хорошую литературу”. Газета “Коммерсантъ” № 42 (510) от 10.03.1994.

 3 www.sergeidovlatov.com/books/kurganov.html

 4 А. Генис. Сад камней // О Довлатове. Статьи, рецензии, воспоминания. Нью-Йорк; Тверь, 2001. С. 152.

 5 Белокурова С. П. Культура письменной речи. В помощь учителю — “Умом Россию не понять…”.www.gramma.ru/EDU/?id=3.30&PHPSESSID=8c20f61be1b8f5f20301c5a175cc7b56

 6 Интервью А. Гениса газете “7 дней” www.7days.ru/w3s.nsf/Archive/2000\_187\_life\_text \_tolstihina1 .html)

 7 Ник. Александров. Довлатов, избранный Довлатовым. О книге: Сергей Довлатов. Последняя книга: Рассказы, статьи. – СПб.: Азбука-классика, 2001. www.gzt.ru/culture/ 2002/03/26/120048.html

 8 Довлатов С. Блеск и нищета русской литературы // Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб., 1996. С.297

 9 Глэд Д. Беседы в изгнании. С. 94. Цит. по: Сухих. И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб., 1996. С. 89.

 10 Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 3. М., 1976. С. 11. Далее ссылки на это издание в тексте: Чехов, С – сочинения, П – письма, Т… С….

 11 Довлатов С. Собр. соч. В 3 т. Т. 1. СПб., 1995. С. 105. Далее ссылки на это издание в тексте: Довлатов. Т… С….

12 Айхенвальд Ю. Письма Чехова. М., 1915. С. 12.

13 Пекуровская А. Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб., 2001. С. 422.

 14 Бондаренко В. Плебейская проза Сергея Довлатова // Наш современник. 1997. № 12. С. 258.

 15 Серман И. Гражданин двух миров // О Довлатове. Статьи, рецензии, воспоминания. Нью-Йорк; Тверь, 2001. С. 152.

 16 Айхенвальд Ю. Письма Чехова. М., 1915. С. 24.

 17 Цитирую по: Пекуровская А. Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб., 2001. С. 371.

 18 Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. М., 1963. С. 242.

 19 Арьев А. И Моцарт в птичьем гаме // Петрополь У. Памяти Сергея Довлатова. СПб., 1994. С. 199.

 20 Вайль П., Генис А. Искусство автопортрета // Петрополь У. Памяти Сергея Довлатова. СПб., 1994. С. 229.

 21 Там же. С. 228.

 22 Арьев А. И Моцарт в птичьем гаме // Петрополь У. Памяти Сергея Довлатова. СПб., 1994. С. 198.

 23 Там же. С. 199.

 24 Айхенвальд Ю. Письма Чехова. М., 1915. С. 10.